

КНИГА

К концу XIX века индивидуализм развился до такой степени, что выразился в культе имени. Это в принципе провинциальное явление породило понятие звезды. Сейчас это уже промышленность, а на рубеже веков звезда еще рождалась сама собой, но настолько часто, что даже прозаики были знамениты, как тенора. Их портреты печатались на почтовых открытках, и гимназистки целовали эти открытки. Такой звездой, погасшей в Финляндии вскоре после революции, был, в частности, Леонид Андреев.

Другая слава досталась его великому сыну Даниилу. По малолетству он пережил революцию и оказался в сталинских лагерях на добрую четверть века, где и написал все свои книги. Книги эти у него, в основном, изымались и либо уничтожались, либо переваривались в непомерном архивном железде ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, но он имел святое мужество верующего человека и продолжал их писать. Последняя его книга имеет замечательную дату в конце: 1943-1958. То есть, пока страна и весь мир переживали войну, как горячую, так и

раяния сочинений Ленина и Сталина, выпущенные самым большим в мире тиражом, сведшим на нет половину лесов Сибири?

Ввиду таких продаж книга становится поступком. Диким, бессмысленным, благородным. Нерациональным. Она не конкурирует и не борется, как потный гамбургский борец. Она отстаивает лишь одно свое право родиться, хотя бы и на один день, хотя бы и в одном экземпляре. Она, как бабочка-однодневка... И так же красива.

Книга-репка, книга-фляжка, книга-манекен, каменная книжка, стальная книжка, стеклянная... Книга-зонтик! И это уже не метафора.

Книга-зонтик была... сделана? Создана? Написана? Издана?.. Еще реже, чем в одном, в единственном экземпляре — «Rebecca Not» специально для выставки уникальной книги в галерее «Авангард» Натана Федоровского в Берлине, как та же бабочка, прожившая ничтожное количество дней с 16 по 26 октября 1992 года! Зонтик этот по-

Москва, новости - 1993 - 17 янв - с. В 7

# Реалии фая

(Выставка Натана Федоровского в Берлине)

холодную, пока был жив Сталин и когда он умер, и когда его разоблачал Хрущев, зэка Даниил Леонидович Андреев писал свою «Розу мира». С убежденностью Данте, но с простодушием непосредственного участника описал он наш универсум, снимая с него онтологический слой за онтологическим слоем, как кожуру с апельсина. Личного опыта и прямого лицезрения ему хватало на половину этих слоев, симметрично, вверх и вниз отсчитываемых от нашего слоя реальности. Причем вниз он погружался глубже, чем мог воспарить вверх. О дальнейших слоях он свидетельствовал более косвенно — по догадке, понаслышке, но каждый раз стараясь придерживаться лишь неоспоримых данных. И лишь самые донные, так же как и самые верхние слои, остались открыты для него мраком или ослеплены светом. Как свидетель он постарался не пропустить и частных подробностей параллельных нам, одновременно с нами существующих миров.

Так не пропустил он и описания слоя (или подслоя), населенного воплощениями героев и детских игрушек. Там, созданный силой воображения гениальных их авторов, Санчо Панса закусьивает с Максим Максимычем, а Евгений Онегин объясняет Вертеру преимущества дуэли перед самоубийством... там, не мешая взрослым, резвятся на лугу симпатичные плюшевые зайчики и медведи, крокодильчики и обезьяны, одушевленные любовью и игрой их бывших маленьких хозяев. Вот уж где «никто не забыт и ничто не забыто», так это в «Розе мира»!

Однако как легко было утратить саму эту книгу...

Напуганные количеством книг на франкфуртской ярмарке или в Библиотеке конгресса, или на книжных развалах на набережной Сены, как легко мы не заметим подобной недостачи. Куда подевались соб-

четно лежал посреди зала. Это был старый, замшелый дамский зонтик, у ручки которого прицепилось чеховское пенсне об одном стеклышке, а по кончику полз любопытствующий жучок, его складки были слегка раздвинуты, застенчиво обнажая некую красную алеющую сокровенную сердцевину содержания, как вполне определенную шель... «А где тут странички?» — спросил я. «Да вот же!» — гордясь, сказал хозяин галереи и перелистал складки зонтика. И действительно, на каждой было что-то написано. Некоторая неразборчивость текста вполне устраивала, поскольку содержанием книги оказывался все-таки сам зонтик, то есть форма и была содержанием. И вся выставка поворачивалась вокруг этого зонтика, как оси.

Но и книга-манекен — из манекена, и каменная — из камня. Книга-фляжка, зато из книги Этель Лилиан Войнич «Овод», намек, особенно трогаящий сердце бывшего советского читателя, — очень уж родная вещь! Это вам не эстетствующий зонтик, утративший свое назначение, столь характеризующий типичный для буржуазного искусства тлен и распад. В этом произведении ни как раз содержание становится оболочкой и формой: книга, пустая, внутри с завинчивающейся пробочкой. Ее романтически-гарибальдийское содержание оказалось вытеснено реальным содержанием нашей жизни — водкой. Я потряс Войнич — она была еще раз пуста. И если она не была прочитана таким образом посетителями выставки, то это и есть единственное упущение устроителей выставки.

Стальная книга... Здесь как раз нет никакого разрыва формы и содержания — полное единство: книга периода полной и



«Маяковский обрел свое единственное личное бессмертие у Бриков, как при жизни обрел там единственное убежище». На фото Александра Родченко: в квартире Маяковского Лили и Осип Брики. 1927 год.

Москва, новости - 1993 - 17 янв - с. В 7

окончательной победы социализма в СССР. Книга из стали: посвящена Сталину; отчет о достижениях стальной промышленности; 1939 год... Молотов-Риббентроп, 60-летие вождя.

Традиционную и объективную, так сказать, устойчивую искусствоведческую ценность представляет коллекция русского книжного авангарда 20-х — начала 30-х годов, тщательно собираемая Н. Федоровским. Тут работы Гончаровой, Лебедева, уникальные книжки Хлебникова, Кручных, Гуро, РАПП и ЛЕФ, Родченко и Маяковский.

Родченко ли фотографировал Маяковского? Маяковский ли фотографировался у Родченко? Субъект или объект? Маяковский гипнотизирует камеру, взгляд его проходит сквозь Родченко и пронизывает нас: кто такие, к кому пришли?

Профессор, снимите очки-велосипед!

Я сам расскажу о времени и о себе.

Ан нет, не сам.

Сам он смотрит и молчит, допытываясь чего-то. Он недоумен: только и всего? Это и есть бессмертие?

Бессмертие это и есть. Вы выходите в иной мир сквозь форточку его портрета. Там все так же: тот же Берлин, те же залы той же галереи, та же осень за окном. Но это уже не карнавальное веселье разнородных блистательных уродцев, уникальностью своего существования иллюстрирующих неистребимость жизни, какой был паноптикум книги как объекта, — это уже трагедия существования отдельного ее экспоната Маяковского.

Сразу вслед, там же, 31 октября состоялось открытие следующей выставки — «Мир Лили Брик». Бабочка умерла — началась долгая жизнь гусеницы. Бессмертие достижимо лишь в метаморфозе. Гусеница экспонирует свое прошлое: осыпающиеся крылышки живописи, пыльцу фотографий и записок.

После того как Маяковский был назначен Сталиным «лучшим и талантливейшим», после того как несчастного самоубийцу растеряли из пушки советской славы, после этого двойного убийства Маяковский обрел свое единственное личное бессмертие у Бриков, как при жизни обрел там единственное убежище. Под панцирем бронзовой громогласности — все то же несчастное, разорванное, одинокое сердце.

Любовь поэта... Отдав должное, воздвигнув памятники, переиздав и перепечатав, перерошив все, мы начинаем вглядываться в ее черты. Кто эта Лаура, Наталья Николаевна и Любовь Дмитриевна? На полстолетия пережившая своего возлюбленного... собравшая и сохранившая все это... прожившая, между прочим, и свою жизнь?

Как говорят, инцидент исперчен.

Любовная лодка разбилась о быт...

И вот этот мягкий и нежный быт, о которой она разбилась. Что бы мы знали о нем без Лили Брик? Казенную комнатку в коммуналке напротив ЧК с портретом Ленина, под которым поэт себя каким-то образом чистил, «чтобы плыть в революцию дальше»? Комнатку без быта, с арестованной посмертной запиской...

Выставка «Мир Лили Брик» имеет самостоятельную художественную и материальную, опять же с точки зрения искусствоведа-

галерейщика-коллекционера, ценность. Но невозможно, разглядывая экспозицию, не ловить себя на постоянной мысли о той Лиле, о ней... Что же в ней такое было? Такое-такое? Разглядывая бесчисленные ее портреты оптики Родченко и кисти Тышлера и Бурлюка, разочаровываясь в возможностях искусства, а не модели. Каким-то образом, поддаваясь и подставляясь запечатлению, она никому не далась, оставив именно вам вашу личную догадку о том, какая она, индивидуально каждому эту личную догадку адресуя, посылая как обещание и привет. И прощение. Прощение за то, что вы, как бы ни сдерживались, но нарушили эту невидимую занавесочку благопристойности. Не женский ли это секрет? Не ее ли тайна?

Что это была за порода такая, эти русские красавицы, рожденные на рубеже веков, Ахматовы и Цветаевы, не написавшие ни строки, но ставшие подругами будущих великих поэтов и художников, оказавших влияние и на Пикассо, и на Дали? Мода ли такая была — поклоняться им, или все-таки достойны были поклонения, лишь слабо запечатленного в поэмах и полотнах, им посвященных? Кто скажет? Насколько бездарны могли бы показаться нам «Дама с камелиями» и «Травита», доведись нам одним глазком взглянуть на Мари Дюплесси?

Вы то подумаете, то посмотрите. Наряду с более престижными работами Пикассо, Шагала, Леже вы найдете в коллекции Лили и живые шедевры Пиромани, Гончаровой, самого Маяковского. Увидите манекен с моделью Ив Сен Лорана, в чертах старухи прозревшего бессмертия красавицы — «стиль Лили Брик». Это странно и убедительно: платье красавицы удостоено той же чести,

что мундир Петра Первого или простреленный спортик Пушкина...

И опять — фотокарточки, автографы, любовные записки... Все это уже стоит музейных витрин и шкафчиков. На полочке — печатка, увядшая перчатка, телеграмма «Володя застрелился». Смотреть становится невозможно... вы отводите взгляд, чтобы его никто не заметил... Большая, как нотная, тетрадь... «Сестра — моя жизнь» — журавлиный почерк Пастернака. Вы раскрываете рукопись...

Февраль. Достать чернил и плакать... Вы проваливаетесь. Там, на этой полочке, за стеклом, между перчаткой и печаткой, между засушенными вуалетками и очками, открывается непомерный мир одного экспоната, и вы покидаете мир Лили Брик...

Эти две выставки, в открывающейся за любым экспонатом перспективе третьей — суть художественная мысль и творчество самого галерейщика. Тленность и мимолетность экспозиции возмечивает бессмертие экспоната, обретающего жизнь лишь в подобной случайности. Жизнь существовала, существует и будет существовать лишь по недоразумению искусства. Победа ненадлежащего, непрочного, непрактичного над утвержденной иерархией социальных ценностей неизбежна. Вам показалось — блажь, а это — свобода.

Этот галерейный рай, этот оживший загробный мир никому не нужных вещей, та кажущаяся нам ненадлежащая форма жизни, одновременно с нашей, настаивающей на своей насущности, наглядно вписывается в онтологические слои нашего бытия, столь любовно описанные страннейшим и нежнейшим философом Даниилом Андреевым.

Я вспомнил о нем, глядя на страннейшее существо, этакого стража обеих выставок — полифема, дракона и ангела одновременно, непрестанно бдущего и бурлившего у недействующего камин. Непонятное это создание не имело отношения ни к уникальной книге, ни к миру Лили Брик. Наверное, в каждой тематической экспозиции должна быть вот такая вещь, чтобы гадать, зачем она. Я бы хотел его встретить еще раз...

Миры у Даниила Андреева не только параллельны, но и подобны. Так, под Петербургом — другой Петербург, с противоположным названием (вроде Ленинграда), где под Медным Всадником — бронзовый орнотозавр верхом на ихтиозавре.

Он? Она? Оно? Стояло скромно у камин на своих тонких ножках, странно совмещая в себе трудно совместимые проявления возмущения происходящим, чувства собственного достоинства и полной отрешенности. Он был занят. Она скрипела и кипела, время от времени взмахивая золотыми крыльями; в прозрачных жилах бурлила и плескалась зеленая чернильная кровь. Это была кинетическая скульптура русского инженера, живущего в Берлине. Это была очень берлинская вещь, потому что крылья ее были в точности, как у ангела с Триумфальной арки.

У этого произведения не было названия, но по юмористичности и серьезности, с какой оно трудилось, это была Муза Прозы, насколько точно она иллюстрировала творческий процесс.